

АРКАДИЙ ГАЙДАР

ШКОЛА

Школа

Аркадий Гайдар

Школа

«Public Domain»

1930

Гайдар А. П.

Школа / А. П. Гайдар — «Public Domain», 1930 — (Школа)

«Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «родительской вишни», яблок-скороспелок, терновника и красных пионов. Сады, примыкая один к другому, образовывали сплошные зеленые массивы, неугомонно звеневшие пересвистами синиц, щеглов, снегирей и малиновок. Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся порядочная рыба давным-давно передохла и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша...»

Содержание

I. Школа	5
Глава первая	5
Глава вторая	7
Глава третья	11
Глава четвертая	14
Глава пятая	18
Глава шестая	22
Глава седьмая	25
Глава восьмая	30
II. Веселое время	33
Глава первая	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Аркадий Гайдар

Школа

I. Школа

Глава первая

Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «родительской вишни», яблок-скороспелок, терновника и красных пионов. Сады, примыкая один к другому, образовывали сплошные зеленые массивы, неугомонно звеневшие пересвистами синиц, щеглов, снегирей и малиновок.

Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся порядочная рыба давным-давно передохла и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша.

Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон. Пожалуй, даже чудотворных больше, чем простых. Но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками и эти угодники переманивали все чудеса к своему месту.

Только и было слышно: то в Сарове слепой прозрел, то хромой заходил, то горбатый выпрямился, а возле наших икон – ничего похожего.

Пронесся однажды слух, будто бы Митьке-цыгану, бродяге и известному пьянице, ежегодно купавшемуся за бутылку водки в крещенской проруби, было видение, и бросил Митька пить, раскаялся и постригается в Спасскую обитель монахом.

Народ валом повалил к монастырю. И точно – Митька возле клироса усердно отбивал поклоны, всенародно каялся в грехах и даже сознался, что в прошлом году спер и пропил козу у купца Бебешина. Купец Бебешин умилился и дал Митьке целковый, чтобы тот поставил свечку за спасение своей души. Многие тогда прослезились, увидав, как порочный человек возвращается с гибельного пути в лоно праведной жизни.

Так продолжалось целую неделю, но уже перед самым пострижением то ли Митьке было какое другое видение, в обратном смысле, то ли еще какая причина, а только в церковь он не явился. И среди прихожан пошел слух, что Митька валяется в овраге по Новоplotинной улице, а рядом с ним лежит опорожненная бутылка из-под водки.

На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец Синюгин. Посланные вскоре вернулись и с негодованием заявили, что Митька действительно бесчувственен, аки зарезанный скот; что рядом с ним уже лежит вторая опорожненная полубутылка, и когда удалось его растолкать, то он, ругаясь, заявил, что в монахи идти раздумал, потому что якобы грешен и недостойн.

Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно в Пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышимый в деревеньках, раскинутых на двадцать километров в окружности.

Благовещенский колокол заглушал все остальные. Колокол Спасского монастыря был надтреснут и поэтому рывкал отрывистым дребезжащим басом. Тоненькие подголоски Никольской обители звенели высокими, звонкими переливами. Этим трем запевалам вто-

рили прочие колокольни, и даже невзрачная церковь маленькой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединялась к общему нестройному хору.

Я любил взбираться на колокольни. Позволялось это мальчишкам только на Пасху. Долго кружишь узенькой темной лесенкой. В каменных нишах ласково ворчат голуби. Голова немного кружится от бесчисленных поворотов. Сверху виден весь город с заплатами разбросанных прудов и зарослями садов. Под горою – Теша, старая мельница, Козий остров, перелесок, а дальше – овраги и синяя каемка городского леса.

Отец мой был солдатом 12-го Сибирского стрелкового полка. Стоял тот полк на рижском участке германского фронта.

Я учился во втором классе реального училища. Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с балльником для подписи. Мать бегло просмотрит отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой:

– Это что же такое?

– Я, мам, тут не виноват. Ну что же я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, что это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а черт знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюсь вовсе.

– Ну, а за чистописание почему? Дай-ка твою тетрадку... Бог ты мой, как наляпано! Почему у тебя на каждой строке клякса, а здесь между страниц таракан раздавлен? Фу, гадость какая!

– Клякса, мам, оттого, что нечаянно, а про таракана я вовсе не виноват. Ведь что это такое, на самом деле, – ко всему придираешься! Что, я нарочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отвечаю! И подумаешь, какая наука – чистописание! Я в писатели вовсе не готовлюсь.

– А к чему ж ты готовишься? – строго спрашивает мать, подписывая балльник. – Лоботрясом быть готовишься? Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы? Это еще к чему? Что ты – в трубочисты готовишься?

– Нет. Ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты... Я буду матросом.

– Почему же матросом? – удивляется озадаченная мать.

– Обязательно матросом... Вот еще... И как ты не понимаешь, что это интересно?

Мать качает головой:

– Ишь, какой выискался. Ты чтобы у меня двоек больше не приносил, а то не посмотрю и на матроса – выдеру.

Ой, как врет! Чтобы она меня выдрала? Никогда еще не драла. В чулан один раз заперла, а потом весь следующий день пирожками кормила и двугривенный на кино дала. Хорошо бы эдак почаще!

Глава вторая

Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина – одноклассника, маленького вертлявого человечка.

Тимка Штукин был безобидным и безответным мальчуганом. Его можно было треснуть по башке, не рискуя получить сдачи. Он охотно доедал бутерброды, оставшиеся у товарищей, бегал в соседнюю лавочку покупать сайки к училищному завтраку и, не чувствуя за собой никакой вины, испуганно затихал при приближении классного наставника.

У Тимки была одна страсть – он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с пичужками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам силком или западками на кладбище. Однажды ему здорово влетело от отца, когда купец Синюгин, завернув на могилу своей бабушки, увидел на каменной плите памятника рассыпанную приманку из конопляного семени и лучок – сетку с протянутой от нее бечевой.

По жалобе Синюгина сторож надрал вихры мальчугану, а наш законоучитель отец Геннадий во время урока закона Божьего сказал неодобрительно:

– Памятники ставятся для воспоминания об усопших, а не для каких-либо иных целей, и помещать на памятниках капканы и прочие посторонние приспособления не подобает – грешно и богохульно.

Тут же он привел несколько случаев из истории человечества, когда подобное богохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил.

Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольнительной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобное преступление понес еще в сей жизни заслуженное божеское наказание.

Тимка шел, насвистывая дроздом. Заметив меня, он приветливо заморгал и в то же время недоверчиво посмотрел в мою сторону, как бы пытаясь определить – подходит к нему человек запросто или с какой-нибудь каверзой.

– Тимка! А мы на урок опоздаем, – сказал я. – Ей-богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву – обязательно.

– Не заметят?! – сказал он испуганно и в то же время вопросительно.

– Обязательно заметят. Ну что же, без обеда оставят, только и всего, – умышленно спокойно поддразнил я, зная, что Тимка беда как боится всяких выговоров и замечаний.

Тимка съезжился и, прибавляя шаг, заговорил огорченно:

– А я-то тут при чем? Отец пошел церковь отпирать. Меня дома на минутку оставил, а сам – вон сколько. И все за-за молебна. По Вальке Спагине мать приезжала служить.

– Как по Вальке Спагине? – разинул я рот. – Что ты!.. Разве он помер?

– Да не за упокой молебен, а об отыскании.

– О каком еще отыскании? – с дрожью в голосе переспросил я. – Что ты мелешь, Тимка? Я вот тебя тресну... Я, Тимка, не был вчера в школе, у меня вчера температура...

– Пинь-пинь... тарарах... тиу... – засвистел Тимка синицей и, обрадовавшись, что я еще ничего не знаю, подпрыгнул на одной ноге. – А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, а что вчера было-то, что было!..

– Да что же было-то?

– А вот что. Сидим мы вчера... первый урок у нас французский. Ведьма глаголы на «этр» задавала. Ле-верб: аллэ, арривэ, антрэ, рестэ, томбэ... Вызвала к доске Раевского. Только стал он писать «рестэ, томбэ», как вдруг отворяется дверь и входит – инспектор

(Тимка зажмурился), директор... (Тимка посмотрел на меня многозначительно) и классный наставник. Когда мы сели, директор и говорит нам: «Господа, у нас случилось несчастье: ученик вашего класса Спагин убежал из дому. Оставил записку, что убежал на германский фронт. Я не думаю, господа, чтобы он это сделал без ведома товарищей. Многие из вас знали, конечно, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа...» – и начал, и начал, полчаса говорил.

У меня сперло дыхание. Так вот оно что! Такое происшествие, такая поражающая новость, а я просидел дома, будто по болезни, и ничего не знаю. И никто – ни Яшка Цуккерштейн, ни Федька Башмаков – не зашли ко мне после уроков рассказать. Тоже товарищи... Когда Федьке нужны были пробки от пугача – так он ко мне... А тут – на-ка!.. Тут половина школы на фронт убежит, а я себе, как идиот, сиди!

Я бурей ворвался в училище, на бегу сбросил шинель и, удачно увильнув от надзирателя, смешался с толпой ребят, выходивших из общего зала, где читалась молитва.

В следующие дни только и было толков что о геройском побеге Вальки Спагина.

Директор ошибался, высказывая предположение, что, вероятно, многие были посвящены в план побега Спагина. Ну положительно никто ничего не знал. Никому не могла далее прийти мысль, что Валька Спагин убежит. Такой тихоня был, ни в одной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал, штаны с него всегда сваливались, ну, словом, размазня размазней, и вдруг – такое дело!

Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга, не замечал ли кто каких-либо приготовлений. Не может же быть, чтобы человек вдруг, сразу, ни с того ни с сего – вздумал, надел картуз и отправился на фронт.

Федька Башмаков вспомнил, что видел у Вальки карту железных дорог. Второгодник Дубилов сказал, что встретил недавно Вальку в магазине, где тот покупал батарейку для карманного фонаря. Больше, сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, припомнить не могли.

Настроение в классе было приподнятое. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали невпопад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое против обыкновенного. Прошло еще несколько дней. И вдруг опять новость – сбежал первоклассник Митька Тупиков.

Училищное начальство всполошилось всерьез.

– Сегодня на уроке закона Божия беседа будет, – по секрету сообщил мне Федька. – Насчет побегов. Я, как тетради относил в учительскую, слышал, что про это говорили.

Нашему священнику отцу Геннадию было этак лет под семьдесят. Лица его из-за бороды и бровей не было видно вовсе, был он тучен, и для того, чтобы повернуть голову назад, ему приходилось оборачиваться всем туловищем, ибо шеи у него не было заметно вовсе.

Его любили у нас. На его уроках можно было заниматься чем угодно: играть в карты, рисовать, положить перед собой на парту вместо Ветхого Завета запрещенного Ната Пинкертон или Шерлока Холмса, потому что отец Геннадий был близорук.

Отец Геннадий вошел в класс, поднял руку, благословляя всех присутствующих, и тотчас же раздался рев дежурного:

– Царю небесный, утешителю души истинный.

Отец Геннадий был глуховат и вообще требовал, чтобы молитву читали громко и отчетливо, но даже и ему показалось, что сегодня дежурный хватил через край. Он махнул рукой и сказал сердито:

– Ну, ну... Что это? Ты читай, чтобы было благозвучно, а то ровно как бык реवेशь.

Отец Геннадий начал издалека. Сначала он рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот сын, как я понял тогда, ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный.

Потом рассказал притчу о талантах: как один господин дал своим рабам деньги, которые назывались талантами, и как одни рабы занялись торговлей и получили от этого дела барыш, а другие спрятали деньги и ничего не получили.

– А что говорят сии притчи? – продолжал отец Геннадий. – Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые и вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой, – нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. И еще раз убеждаю вас: если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не убоялись они вернуться, пока есть время, под родительский кров. И помните, в притче, когда вернулся блудный сын, то отец по доброте своей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упитанного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудшихся юношей простят им все и примут их с распростертыми объятиями.

В этих словах я несколько усомнился. Что касается первоклассника Тупикова, то как его встретили бы родители – не знаю, но что булочник Спагин по поводу возвращения сына не станет резать упитанного тельца, а просто хорошенько отстегает сына ремнем, – это уж наверняка.

– А притча о талантах, – продолжал отец Геннадий, – говорит о том, что нельзя зарывать в землю своих способностей. Вы обучаетесь здесь всевозможным наукам. Кончите школу, каждый изберет себе профессию по способностям, призванию и положению. Один из вас будет, скажем, почтенным коммерсантом, другой – доктором, третий – чиновником. Всякий будет уважать вас и думать про себя: «Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умножил их и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни». Но что же, – тут отец Геннадий огорченно воздел руки к небу, – что же, спрашиваю вас, выйдет из этих и им подобных беглецов, кои, презрев все предоставленные им возможности, убежали из дому в поисках пагубных для тела и души приключений? Вы растете, как нежные цветы в теплой оранжерее заботливого садовника, вы не знаете ни бурь, ни треволнений и спокойно расцветаете, радуя взоры учителей и наставников. А они... даже если перенесут все невзгоды, то без ухода вырастут буйными терниями, обвеянными ветрами и обсыпанными придорожной пылью.

Когда отец Геннадий, величественный и воодушевленный, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую, я вздохнул, подумал и сказал:

– Федька!

– Ну?

– Ты как думаешь насчет талантов?

– Никак. А ты?

– Я?

Тут я замялся немного и добавил уже тише:

– А я, Федька, пожалуй, тоже зарыл бы таланты. Ну что – коммерсантом либо чиновником?

– Я бы тоже, – чуть поколебавшись, сознался Федька. – Какой есть интерес расти, как цветок в оранжерее? На него плюнь, он и завянет. Тернию, тому хоть все нипочем – ни дождь, ни жара.

– Федька, – сказал я, – а как же тогда батюшка говорил: «И ответите в жизни будущей». Ведь хоть и в будущей, а все одно отвечать неохота!

Федька задумался. Видно было, что он и сам не особенно ясно себе представляет, как избежать обещанного наказания. Он тряхнул головой и ответил уклончиво:

– Ну, так ведь это еще не скоро... А там, может быть, что-нибудь и придумается.

Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать: его поймали через три дня в шестидесяти километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду.

Говорят, что дома не знали, куда его посадить, накупили ему подарков, а мать, взяв с него торжественное слово больше не убегать, пообещала купить ему к лету ружье монтекристо. Но зато в школе над Тупиковым смеялись и издевались: «Нечего сказать, этак и многие из нас согласились бы пробегать три дня вокруг города да за это в подарок получить настоящее ружье».

Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли «Коля бешеный».

Вызывает Малиновский Тупикова к доске:

– Тэк-с!.. Скажите, молодой человек, на какой же это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?

– Нет, – ответил, побагровев, Тупиков, – на германский.

– Тэк-с! – ехидно продолжал Малиновский. – А позвольте вас спросить, за каким же вас чертом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и где в оной мои уроки географии? Разве же не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву, – он ткнул указкой по карте, – через Смоленск и Брест, если вам угодно было бежать на германский? А вы поперли прямо в противоположную сторону – на восток. Как вас понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусорном ящике. Садитесь. Ставлю вам два. И стыдитесь, молодой человек!

Надо заметить, что следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычным рвением принялись за изучение географии и даже выдумали новую игру, называвшуюся «беглец».

Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через которые лежит туда путь. Если беглец ошибался, то платил фант, а за неимением фанта получал затрещину или щелчок по носу, смотря по уговору.

Глава третья

Каждую неделю, в среду, в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы.

После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы.

Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни», – все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель заметил мне однажды:

– Вы бы, Гориков, полегче, а то уж чересчур.

Я обиделся. Что значит – чересчур?

А если у меня на пение нет таланта, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?

Дома я поделился с матерью своей обидой.

Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала мне:

– Мал еще. Подрасти немного... Ну, воюют и воюют. Тебе-то какое дело?

– Как, мам, мне какое дело? А если германцы нас завоюют? Я, мам, тоже об ихних зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют – ни стариков, ни детей, а почему же наш царь всех жалеет?

– Сиди! – недовольно сказала мне мать. – Все хороши... Как взбесились ровно – и германцы не хуже людей, и наши тоже.

Мать ушла, а я остался в недоумении: то есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, всё жгут – разрушили Реймский собор и надругались над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот даже, в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке. Федька согласился со мной:

– Конечно, вери. Они затопили «Лузитанию» с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь – благородные. И французский президент – тоже. А их Вильгельм – хам!

– Федька, – спросил я, – а почему французский царь президентом называется?

Федька задумался.

– Не знаю, – ответил он. – Я что-то слышал, что ихний президент вовсе и не царь, а так просто.

– Как это – так просто?

– Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку писателя Дюма. Интересная книжка – кругом одни приключения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них не царь, а президент.

– Как же можно, чтобы царя убили? – возмутился я. – Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь.

– А ей-богу же, убили. И его самого убили, и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь.

– Ну, уж это ты непременно врешь! Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья, Иван Федорович, воров судит: вот у Плющихи забор сломали – он судил, Митька-цыган у монахов ящик с просфорами спер – опять он судил. А царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник.

– Ну, хочешь – верь, хочешь – нет! – рассердился Федька. – Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, я тебе ее дам. Там и суд вовсе не этаким был, как у Ивана Федоровича. Там собирався весь народ и судили, и казнили... – добавил он раздраженно, – и даже вспомнил

я, как казнили. У них не вешают, а машина этакая есть – гильотина. Ее заведут, а она раз-раз – и отрубает головы.

– И царю отрубали?

– И царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Сам прочитаешь. Интересно... Там про монаха одного... Хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, так до слез хохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать.

Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг.

– Как по-твоему, Федька, – спросил я, – пленные в кандалах или нет?

– Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь! Вон как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат.

– Так ведь арестанты – они же воры, а пленные ничего не украли.

Федька сощурился.

– А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украл либо убил? Там, брат, за разное сидят.

– За какое еще разное?

– А вот за такое... За что ремесленного учителя посадили? Не знаешь? Ну и помалкивай.

Меня всегда сердило, почему Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его ни спроси – только не насчет уроков, – он всегда что-нибудь да знает. Должно быть, через отца. Отец у него почтальон, а почтальон, пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается.

Ремесленного учителя, или, как его у нас звали, Галку, ребяташки любили. Приехал он в город в начале войны. Снял на окраине квартирку. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клеточки, ящички, западки. Летом, бывало, наберет целую ораву и отправляется с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам он был черный, худой и ходил немного подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой. Арестовали его совершенно неожиданно, за что – мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что будто бы он шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выплыла наружу.

Но я не верил: во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не дотянешь; во-вторых, про какие военные секреты и передвижения войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало – семь человек команды у воинского присутствия, офицер Балагушин с денщиком да на вокзале четыре пекаря из военно-продовольственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле – обыкновенные булочники. Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырятиных к Басютиным, а больше никаких передвижений и не было.

Что же касается того, что учитель был разбойником, – это была явная ложь. Выдумал это Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль, и если попросит взаймы три копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет удилище без крючков и потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя – разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная, и сам он добрый, а к тому же худой и всегда кашляет.

Так мы добежали с Федькой до самого оврага.

Тут, не в силах более сдерживать свое любопытство, я спросил у Федьки:

– Федь... так за что ж, на самом деле, учителя арестовали? Ведь это же враки и про шпиона и про разбойника?

– Конечно, враки, – ответил он, замедляя шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы. – Его, брат, за политику арестовали.

Не успел я подробнее повыспросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за поворотом раздался тяжелый топот приближающейся колонны.

Пленных было около сотни.

Они не были закованы, и сопровождало их всего шесть конвоиров.

Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом.

«Так вот какие они, – думали мы с Федькой, пропуская колонну. – Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, насупились – не нравится в плену. То-то, голубчики!» Когда колонна прошла мимо, Федька погрозил ей вдогонку кулаком:

– Газы выдумали! У, немецкая колбаса проклятая!

Возвращались домой мы немного подавленными. Отчего – не знаю. Вероятно, оттого, что усталые, серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.

Глава четвертая

Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много.

Во-первых, нужно было построить плот, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу.

У нас и до сих пор был маленький флот – спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имелась половина старых ворот, заменявшая тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот.

Силы были явно неравны.

Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники.

Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья.

С противоположного берега неприятель, заметив наше перевооружение, забеспокоился и начал тоже что-то сооружать, но наша агентурная разведка донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего серьезного за неимением строительного материала. Попытки же спереть со двора доски, предназначенные для обшивки сарая, не увенчались успехом: семейный совет не одобрил самовольного расходования материалов не по назначению, и враждебные нам адмиралы – Сенька Пантюшкин и Гришка Симаков – были беспощадно выдраны отцами.

Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко. Требовалось много денег и времени, а мы с Федькой как раз испытывали тогда полосу финансовых затруднений. Одних только гвоздей ушло больше чем на полтинник, а оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал для флага.

Чтобы раздобыть все необходимое, мы вынуждены были прибегнуть к тайному займу в семьдесят копеек под залог двух учебников закона Божьего, немецкой грамматики «Глезер и Петцольд» и хрестоматии по русскому языку.

Зато дредноут наш вышел на славу. Спускали мы его уже под вечер. Помогали спускать Тимка Штукин и Яшка Цуккерштейн. В качестве зрителей пришли все ребятишки сапожника, моя сестренка и дворовая собачка Волчок, она же Шарик, она же Жучка – звал ее каждый, как хотел. Плот затрещал, закрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас же раздалось громкое «ура», салют из пугачей, и над дредноутом взвился флаг.

Флаг у нас был черный с красными каемками и желтым кругом посередине.

Развеваемый слабым теплым ветром, он эффектно затрепыхался – мы снялись с якорей.

Близился закат. Слышалось далекое звяканье бубенцов возвращавшегося стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество.

На дредноуте были я и Федька. Позади нас, на почтительном расстоянии, плыла наша маленькая калитка, предназначенная быть посыльным судном.

Наша эскадра медленно, сознавая свою силу, выплыла на середину пруда и продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника и в рупор и сигналами – он не хотел принимать боя и постыдно прятался в бухте под полусгнившей ветлой.

В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь, но мы сразу же поставили себя вне пределов досягаемости орудий противника и спокойно отплыли в

свой порт без всякого урона, если не считать легкой контузии картофелиной, полученной в спину Яшкой Цуккерштейном.

– О-го-го! – закричали мы, уплывая. – Что, слабо вам выйти навстречу?

– Подождите! Выйдем, не хвалитесь раньше времени, не испугались!

– То-то, оно и видно, что не испугались... Труссы! Немцы несчастные!

Мы благополучно вошли в свой порт, бросили якоря и, крепко на цепь закрепив плоты, выскочили на берег.

В тот же вечер мы с Федькой чуть не поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом. На мое предложение командовать ему посыльным судном Федька ответил презрительным плевком. Тогда я предложил ему, кроме этого, быть начальником порта, начальником береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку, и он упорно стоял на том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил предаться неприятелю.

Тогда, не желая терять ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди: день – он, день – я. На этом мы и порешили.

Мы смастерили два лука, запаслись десятком стрел и отправились в перелесок. В запасе у нас было несколько «лягушек». «Лягушками» назывались бумажные трубочки, сложенные в несколько раз, туго перетянутые бечевой и начиненные смесью бертолетовой соли с толченым углем. Мы привязывали «лягушку» к концу стрелы, один натягивал бечеву, другой поджигал у «лягушки» шнур. Тотчас же стрела взвивалась в небо, и «лягушка», разрываясь высоко в воздухе, металась огненными зигзагами, спугивая галок и ворон.

Перелесок примыкал к кладбищу. Перелесок был густ, весь изрыт ямами, покрыт маленькими прудами. На тенистых зеленых лужайках цвели желтые кувшинки, куриная слепота и рос папоротник.

Вдоволь наигравшись, мы перелезли через каменную стену и очутились в самом отдаленном и глухом углу кладбища. Тишина, нарушаемая только разноголосым щебетом укрывшихся в листве птичек, действовала успокаивающе на наше возбужденное игрой настроение. Пробираясь через пустырь мимо надмогильных холмиков, иногда едва выступавших над землей, мы разговаривали вполголоса.

– Смотри, – сказал я Федьке, – сейчас за поворотом начнутся солдатские могилы. На прошлой неделе здесь похоронили Семена Кожевникова из лазарета. Я, Федька, хорошо помню Кожевникова. Еще задолго до войны, когда я был вовсе маленьким, он приходил к моему отцу. Он один раз подарил мне резинку для рогатки. Хорошая была резинка. Только ее потом мать в печку выбросила – будто бы я камешком у Басютиных стекло разбил.

– А нет, что ли?

– Ну так что ж, что я? Да ведь это же доказать надо было, а то никто не видел, а по одному только подозрению... Какая же это справедливость выходит? Вдруг бы не я разбил, тогда, значит, все равно бы на меня?

– Все равно бы, – согласился Федька. – Они, матери, всегда такие. У девчонок ничего не трогают, а как мальчишкину какую игру заметят, так и выбрасывают. У меня мать две стрелы с гвоздем сломала да потом крысу из клетки выкинула. А один раз еще хуже было... Свинтил я шарик пустой. Знаешь, которые на кроватях для украшения привернуты. Мать как раз в церковь ушла. Сажу себе, достал селитры, угля. Ну, думаю, начиню шарик порохом, а потом в перелеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать сзади очутилась. «Ты зачем, говорит, шар с кровати свернул? Ах ты, проклятый! А я смотрю, куда у меня шары делись?» Да как треснет меня по башке! Хорошо, что отец вступился. Спрашивает: «Зачем шар взял?» – «Разве, – отвечаю ему, – не видишь?.. Бомбу делать». Нахмурился он: «Брось,

говорит, не балуй такими вещами, ишь какой террорист выискался!» А сам засмеялся и по голове погладил.

– Федька, – сказал я ему спокойно, – а я знаю, что такое террорист. Это – которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, какие – бедные или богатые?

– Средние, – ответил Федька, подумавши. – Чтобы очень бедные, этого тоже не сказать. У нас как отец нашел место, то каждый день обед, а по воскресеньям еще пироги мать стряпает да иной раз компот. Я беда как люблю компот! А ты любишь?

– И я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже так думаю, что средние. Вон у Бебешиных фабрика целая. Я один раз был у ихнего Васьки. У них одной прислуги сколько и лакей! А Ваське отец живую лошадь подарил... пони называется.

– У них, конечно, все есть, – согласился Федька, – у них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил и телескоп поставил. Огро-о-омный! Как надоест ему все на земле, так и идет Синюгин на ту вышку, туда ему закуску несут, бутылку... И сидит он всю ночь да на звезды и планеты смотрит. Только недавно он на той вышке выпивку со знакомыми устроил, так, говорят, после ихнего просмотра какое-то стекло лопнуло, теперь ничего уже не видать.

– Федька! А почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое ему удовольствие, а другому – фига? Вон Сигов, который на его фабрике работает, так тому не то чтобы на планеты, а просто жрать нечего. Вчера приходил вниз к сапожнику полтинник занимать.

– Почему?... Вот еще... почему я знаю? Ты спроси у учителя или у батюшки.

Федька помолчал, сорвал на ходу ветку душистого одичавшего жасмина, потом добавил уже тише:

– Отец говорил, что скоро все будет наоборот.

– Что наоборот?

– Все как есть. Я, Борька, и сам еще хорошо не разобрался. Я будто бы спал, а на самом деле нарочно, а отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы опять забастовки, как в пятом году, будут. Ты знаешь, что было в пятом году?

– Знаю, но только не особенно, – ответил я, покраснев.

– Революция была. Только не удалась. Это значит, чтобы помещиков жечь, чтобы всю землю крестьянам, чтобы все от богатых к бедным. Я, знаешь, все это из их разговора услышал.

Федька умолк. И опять меня взяла досада, почему Федька знает больше меня. Я бы тоже узнал, да не у кого. И в книжках про это ничего не написано. И никто про это со мной не разговаривает.

Дома уже, после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать и сказал:

– Мама, расскажи мне что-нибудь про пятый год. Почему с другими говорят об этом? Федька все интересное знает, а я никогда ничего не знаю.

Мать быстро повернулась, нахмурила брови, по-видимому, собираясь выругать меня, потом раздумала ругать и посмотрела с таким любопытством, как будто бы увидала меня в первый раз.

– Про какой еще пятый год?

– Как про какой? Ты сама знаешь, про какой. Ты вон какая здоровая. Тебе тогда уже много лет было, а мне всего один год, и я вовсе даже ничего не запомнил.

– Да чего же тебе рассказывать? Это у отца надо бы спрашивать, он мастер про это рассказывать. А я в пятом году света из-за тебя, сорванца, не видела. Тоже... такой был деточка, что и не приведи Бог... горластый, крикастый, ни минуты покоя не давал. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут, бывало, про белый свет и про себя позабудешь.

– А с чего же, мама, я орал? – спросил я, немного обидевшись. – Может, я боялся тогда? Говорят, стрельба была и казаки. Может, с перепугу?

– С какого там еще перепугу! Так просто, блаженной был – и орал. Какой у тебя тогда мог быть перепуг? К нам с обыском один раз ночью жандармы пришли, и чего искали – сама не знаю. Тогда у многих подряд обыски были. Всю как есть квартиру перерыли, ничего не нашли. Офицер этаким вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. «Хороший, говорит, мальчик у вас». А сам, будто шутя, на руки тебя взял и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с тебя! Батюшки, прямо офицеру на мундир. Ах ты, боже мой! Я тебя скорей схватила, тащу офицеру тряпку. Подумать только! Мундир новый – и весь насквозь; и на штаны попало, и на шашку. Всего как есть опрудил, шельмец этакий! – И мать рассмеялась.

– Ты, мам, вовсе мне про другое рассказываешь, – совсем обидевшись, прервал я. – Я про революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то...

– Да ну тебя... привязался еще! – отмахнулась мать.

Но тут, заметив мое огорченное лицо, она подумала, достала связку ключей и сказала:

– Что я тебе рассказывать буду? Пойди отпри чулан... Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Поищи... Если не все он разодрал, то, может, и найдешь какую и про пятый год.

Я быстро схватил связку ключей и бросился к дверям.

– Да ежели ты, – крикнула мне вдогонку мать, – вместо ящика с книгами в банку с вареньем залезешь или опять, как в прошлый раз, с кринок сметану поснимаешь, то я тебе такую революцию покажу, что и своих не узнаешь!

Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы. Называлась эта наугад взятая книга – «Философия нищеты». Из этой мудреной философии я тогда ровно ничего не понял. Но зато другая книга – рассказы Степняка-Кравчинского – была мне понятна, я прочел ее до конца и перечел снова.

В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того чтобы возбуждать обычное сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.

Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционеров. И мне обидно стало, что Арзамас такой плохой город, что в нем ничего не слышно про революционеров. Воры были: у Тупиковых с чердака начисто все белье сняли; конокрады-цыгане были, даже настоящий разбойник был – Ванька Селедкин, который убил акцизного контролера, а вот революционеров-то и не было.

Глава пятая

Я, Федька, Тимка и Яшка Цуккерштейн только собрались играть в городки, как прибежал из сада сапожников мальчишка и сообщил, что к нашему берегу причалили тайно два плота Пантюшкиных и Симаковых; сейчас эти проклятые адмиралы отбивают замок с целью увести наши плоты на свою сторону.

Мы с гиканьем понеслись в сад. Заметив нас, враги быстро повскакали на свои плоты и отчалили.

Тогда мы решили преследовать и потопить неприятеля.

В тот день командовал дредноутом Федька. Пока он и Яшка отталкивали тяжелый, неповоротливый плот, мы с Тимкой на старом суденышке пустились неприятелю наперерез. Наши враги сразу сделали ошибку. Очевидно, не предполагая, что мы будем их преследовать, они, вместо того чтобы сразу направиться к своему берегу, взяли курс далеко влево. Когда же они заметили свою ошибку, то были уже далеко и теперь напрягали все свои силы, пытаясь проскочить, прежде чем мы успеем перерезать им дорогу. Но Федька и Яшка никак не могли отвязать большой плот. Нам с Тимкой предстояла героическая задача – на легком суденышке задержать на несколько минут двойные силы неприятеля.

Мы очутились без поддержки перед враждебной эскадрой и самоотверженно открыли по ней огонь. Нечего и говорить, что мы сами тотчас же попали под сильнейший перекрестный обстрел.

Уже дважды я получил комом по спине, а у Тимки сшибло фуражку в воду. Стали истощаться наши снаряды, и мы были насквозь промочены водой, – а Федька и Яшка еще только отчаливали от берега.

Заметив это, неприятель решил идти напролом.

Мы не могли выдержать столкновения с их плотами – наша калитка была бы безусловно потоплена.

– Ураганный огонь последними снарядами! – скомандовал я.

Отчаянными залпами мы задержали противника только на полминуты. Наш дредноут полным ходом спешил к нам на помощь.

– Держитесь! – кричал Федька, открывая огонь с далекой дистанции.

Однако вражьи суда были почти рядом. Оставалось только дать им уйти в защищенный порт или загородить дорогу, рискуя выдержать смертельный бой. Я решился на последнее.

Сильным ударом шеста я поставил свой плот поперек пути.

Первый вражеский плот с силой налетел на нас, и мы с Тимкой разом очутились по горло в теплой заплесневелой воде. Однако от удара плот противника тоже остановился. Этого только нам и нужно было. Наш могучий дредноут – огромный, неуклюжий, но крепко сколоченный – на полном ходу врезался в борт неприятельского судна и перевернул его. Оставался еще миноносец из свиного корыта. Пользуясь своей быстротходностью, он хотел было проскочить мимо, но и его опрокинули шестом.

Мы с Тимкой забрались на Федькин плот, и теперь только головы неприятельской команды торчали из воды. Но мы были великодушны: взяв на буксир перевернутые плоты, разрешили взобраться на них побежденным и с триумфом, под громкие крики мальчишек, усеявших заборы садов, доставили трофеи и пленников к себе в порт.

Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало и все одно и то же: «Жив, здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется, конца-краю не предвидится».

Меня разочаровывали его письма. Что это такое на самом деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические

подвиги, а то прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука на этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осенью.

Почему другие, вот, например, прапорщик Тупиков, брат Митьки, присылает письма с описанием сражений и подвигов и каждую неделю присылает всякие фотографии? На одной фотографии он снят возле орудия, на другой – возле пулемета, на третьей – верхом на коне, с обнаженной шашкой, а еще одну прислал, так на той и вовсе голову из аэроплана высунул. А отец – не то чтобы из аэроплана, а даже в окопе ни разу не снялся и ни о чем интересном не пишет.

Однажды, уже под вечер, в дверь нашей квартиры постучали. Вошел солдат с костылем и деревянной ногой и спросил мою мать. Матери не было дома, но она должна была скоро прийти. Тогда солдат сказал, что он товарищ моего отца, служил с ним в одном полку, а сейчас едет наводсе домой, в деревню нашего уезда, и привез нам от отца поклон и письмо.

Он сел на стул, поставил к печке костыль и, порывшись за пазухой, достал оттуда замасленное письмо. Меня сразу же удивила необычайная толщина пакета. Отец никогда не присылал таких толстых писем, и я решил, что, вероятно, в письмо вложены фотографии.

– Вы с ним вместе служили в одном полку? – спросил я, с любопытством разглядывая худое, как мне показалось, угрюмое лицо солдата, серую измятую шинель с георгиевским крестиком и грубую деревяшку, приделанную к правой ноге.

– И в одном полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе рядом, локоть к локтю... Ты его сын, что ли, будешь?

– Сын.

– Вот что! Борис, значит? Знаю. Слышал от отца. Тут и тебе посылка есть. Только отец наказывал, чтобы спрятал ты ее и не трогал до тех пор, пока он не вернется.

Солдат полез в самодельную кожаную сумку, сшитую из голенища; при каждом его движении по комнате распространялись волны тяжелого запаха йодоформа.

Он вынул завернутый в тряпку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был небольшой, а тяжелый. Я хотел вскрыть его, но солдат сказал:

– погоди, не торопись. Успеешь еще посмотреть.

– Ну, как у нас на фронте, как идут сражения, какой дух у наших войск? – спросил я спокойно и солидно.

Солдат посмотрел на меня и прищурился. Под его тяжелым, немного насмешливым взглядом я смутился, и самый вопрос показался мне каким-то напыщенным и надуманным.

– Ишь ты! – И солдат улыбнулся. – Какой дух? Известное дело, милый... Какой дух в окопе может быть... Тяжелый дух. Хуже, чем в нужнике.

Он достал кисет, молча свернул сигарку, выпустил сильную струю едкого махорочного дыма и, глядя мимо меня на покрасневшее от заката окно, добавил:

– Обрыдло все, очертенело все до горечи. И конца что-то не видно.

Вошла мать. Увидев солдата, она остановилась у двери и ухватила рукой за дверную скобу.

– Что... что случилось? – тихо спросила она побелевшими губами. – Что-нибудь про Алексея?

– Папа письмо прислал! – завопил я. – Толстое... наверное, с фотографиями, и мне тоже подарок прислал.

– Жив, здоров? – спрашивала мать, сбрасывая шаль. – А я как увидела с порога серую шинель, так у меня сердце ёкнуло. Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось.

– Пока не случилось, – ответил солдат. – Низко кланяется, вот – пакет просил передать. Не хотел он по почте... Почта ныне ненадежная.

Мать разорвала конверт. Никаких фотографий в нем не было, только пачка замасленных, исписанных листков.

К одному из них пристал комок глины и зеленая засохшая травинка.

Я развернул сверток – там лежал небольшой маузер и запасная обойма.

– Что еще отец выдумал! – сказала недовольно мать. – Разве это игрушка?

– Ничего, – ответил солдат. – Что у тебя сын дурной, что ли? Гляди-ка, ведь он вон уже какой, с меня ростом скоро будет. Пусть спрячет пока. Хороший пистолет. Его Алексей в германском окопе нашел. Хорошая штука. Потом всегда пригодиться может.

Я потрогал холодную точеную рукоятку и, осторожно завернув маузер, положил его в ящик.

Солдат пил у нас чай. Выпил стаканов семь и все рассказывал нам про отца и про войну. Я выпил всего полстакана, а мать и вовсе не дотронулась до чашки. Порывшись в своих склянках, она достала пузырек со спиртом и налила солдату. Солдат сощурился, долил спирт водой и, медленно выпив водку, вздохнул и покачал головой.

– Жисть никуда пошла, – сказал он, отодвигая стакан. – Из дома писали, что хозяйство прахом идет. А чем помочь было можно? Сами голодали месяцами. Такая тоска брала, что думаешь – хоть бы один конец. Замотались люди в доску. Бывало, иногда закипит душа, как ржавая вода в котелке. Эх, думаешь, была бы сила, плюнул бы... и повернул обратно. Пусть воюет, кто хочет, а я у немца ничего не занимал, и он мне ничего не должен! Мы с Алексеем много про это говорили. Ночи длинные... Спать блоха не дает. Только вся и утеха, что песни да разговоры. Иной раз плакать бы впору или удавить кого, а ты сядешь и запоешь. Плакать – слез нету. Злость сорвать на ком следует – руки короткие. Эх, говоришь, ребята, друзья хорошие, товарищи милые, давайте хоть песню споем!

Лицо солдата покраснело, покрылось влагой, и по комнате гуще и гуще расходился запах йодоформа. Я открыл окно. Сразу пахнуло вечерней свежестью, прелью сложенного во дворах сена и переспелой вишней.

Я сидел на подоконнике, чертил пальцем по стеклу и слушал, что говорил солдат. Слова солдата оставляли на душе осадок горькой сухой пыли, и эта пыль постепенно обволакивала густым налетом все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях и ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо опьянев, продолжал:

– Смерть, конечно, плохо. Но не смертью еще война плоха, а обидою. На смерть не обидно. Это уже такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человеку помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал... ты не выдумывал, он не выдумывал, а кто-то да выдумал. Так вот, кабы был Господь Бог всемогущ, всеблаг и всемилостив, как об этом в книгах пишут, пусть призвал бы он того человека и сказал ему: «А дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода? Выкладывай все начистоту, чтобы всем было ясно и понятно». Только... – Тут солдат покачнулся и чуть не уронил стакан. – Только... не любит что-то Господь в земные дела вмешиваться. Ну что же, подождем, потерпим. Мы – народ терпеливый. Но уж когда будет терпению край, тогда, видно, придется самим разыскивать и судей и ответчиков.

Солдат умолк, нахмурился, исподлобья посмотрел на мать, которая, опустив глаза на скатерть, за все время не проронила ни слова. Он встал и, протягивая руку к тарелке с селедкой, сказал примирительно и укоризненно:

– Ну, да что ты... Вот еще о чем заговорили! Пустое... Всему будет время, будет и конец. Нет ли у тебя, хозяйка, еще в бутылке?

И мать, не поднимая глаз, долила ему в стакан капли теплого пахучего спирта.

Всю эту ночь за стеною проплакала мама; шелестели один за другим перевортываемые листки отцовского письма. Потом через щель мелькнул тусклый зеленый огонек лампадки, и я догадался, что мать молится.

Отцовского письма она мне не показала. О чем он писал и отчего в ту ночь она плакала, я так и не понял тогда.

Солдат ушел от нас утром.

Перед тем как уйти, он похлопал меня по плечу и сказал, точно я его о чем спрашивал:

– Ничего, милый... Твое дело молодое. Эх! Поди-ка, ты и почище нашего еще увидишь!

Он попрощался и ушел, притопывая деревяшкой, унося с собой костыль, запах йодоформа и гнетущее настроение, вызванное его присутствием, его кашляющим смехом и горькими словами.

Глава шестая

Лето подходило к концу. Федька усиленно готовился к переэкзаменовке. Яшка Цуккерштейн, напившись болотной воды, заболел лихорадкой, и я как-то неожиданно очутился в одиночестве. Я валялся на кровати, читал отцовские книги и газеты.

Про конец войны ничего не было слышно. В город понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту и заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были людьми набожными и неохотно пускали к себе беженцев – в большинстве бедных многосемейных евреев, и беженцы главным образом жили в бараках возле перелеска, за городом.

К тому времени из деревень вся молодежь, все здоровые мужики были угнаны на фронт. Многие хозяйства разорились. Работать в полях было некому, и в город потянулись нищие – старики, бабы и ребятишки.

Раньше, бывало, ходишь целый день по улицам – и ни одного незнакомого не встретишь. Иного хоть по фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал, а теперь попадались на каждом шагу незнакомые, чужие лица – евреи, румыны, поляки, пленные австрийцы, раненые солдаты из госпиталя Красного Креста.

Не хватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с раннего утра. У булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже на несъестные продукты.

Говорили у нас, что один Бебешин за последний год нажил столько же, сколько за пять предыдущих. А Синюгин – тот и вовсе так разбогател, что пожертвовал шесть тысяч на храм; забросив свою вышку с телескопом, выписал из Москвы настоящего, живого крокодила, которого пустил в специально выкопанный бассейн.

Когда крокодила везли с вокзала, за телегой тянулось такое множество любопытных, что косой пономарь Спасской церкви Гришка Бочаров, не разобравшись, принял процессию за крестный ход с Оранской иконой Божией Матери и ударил в колокола. Гришке от епископа было за это назначено тридцатидневное покаяние. Многие же богомольцы говорили, что Гришка врет, будто бы зазвонил по ошибке, а сделал это нарочно, из озорства. Мало ему покаяния, а надо бы для примера засадить в тюрьму, потому что похороны за крестный ход принять – это еще куда ни шло, но чтобы этакую богомерзкую скотину с пресвятой иконой спутать – это уже смертный грех!

Захлопнув книгу, я выбежал на улицу. Делать мне было нечего, и я побежал за город, на кладбище, к Тимке Штукину. Тимку дома я не застал. Отец его, седой крепкий старик, старый знакомый моего отца, потрепал меня по плечу и сказал:

– Растешь, хлопец! Батько-то приедет и не узнает. Ростом-то ты в отца вышел, во какой здоровенный! А мой Тимка, пес его знает, в деда, что ли, по матери пошел, – хлюпкий, как комар. И куда в его только жратва идет?! Отец-то здоров? Будете писать – от меня поклон. Хороший, настоящий человек. Мы с ним восемь лет в сельской школе проработали. Он – учителем, а я – сторожем... Только давно это... Ты вовсе сосуном был... не помнишь. Ну, ступай! Тимка тут где-нибудь, щеглов ловит. Поищи в березах, там, в углу, за солдатскими могилами. Ближе-то он не ловит – староста, как увидит, ругается.

Тимку я нашел в березняке. Он стоял под деревом и, держа в руке палку с петлей, осторожно подводил ее под едва заметного в пожелтевшей листве щегла. Тимка испуганно, почти умоляюще посмотрел на меня и замотал головой, чтобы я не подходил ближе и не спугнул птицы. Я остановился.

Большей дуры-птицы, чем щегол, по-моему, не было никогда на свете. К концу длинного тонкого удилища ребята-птицеловы прикрепляют конский волос и делают петлю. Петлю эту нужно осторожно накинуть на шею щеглу.

Тимка осторожно подвел конец удилища к самой голове пичужки. Щегол покосился на петлю и лениво перескочил на соседнюю ветку. Высунув кончик языка, стараясь не дышать, Тимка принялся подводить петлю снова. Глупый щегол с любопытством посматривал на Тимкино занятие. Он по-идиотски беспечно позволил окружить петлей нахохлившуюся головку. Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхаясь крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятком других пленных собратьев.

– Видал?! – заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге. – Во, брат, как ловко... целых шесть штук. Только щеглы всё. Синицу этак не поймаешь... Ее западками надо или лучком... Хитрющая! А эти дураки сами башкой лезут...

Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове, лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то стукнул его поленом по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты две, потом опять подпрыгнул и спросил:

– Что!.. слышал?

– Ничего не слышал, Тимка. Слыхал, что паровоз на вокзале загудел.

– Господи ты Боже мой! Он не слышал! – удивленно всплеснул руками Тимка. – Малиновка!.. Слышал ты, пересвистнулась?.. Настоящая, краснозвонка. Я уже по свисту слышу, я ее, голубушку, вторую неделю выслеживаю. Знаешь, где утопленника хоронили? Ну, так вот она там, в кленах, где-то водится. Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие... Пойдем посмотрим.

Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу прискакивая по-птичьи, он показывал мне:

– Здесь вот – пожарный лежит... в прошлом году сгорел, а здесь – Чурбакин слепой. Тут все этикие, тут купцов не хоронят, для купцов хорошая земля отведена... Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили, с архангелами. А вот тут, – Тимка ткнул пальцем на еле заметный бугорок, – тут удушенник похоронен. Батяка говорил, что сам он, нарочно удушился... слесарь деповский. Вот уж не знаю, как это можно самому, нарочно?

– От плохой жизни, должно быть, Тимка, ведь не от хорошей же?

– Ну-у, что ты! – удивленно и протестующе протянул Тимка. – От какой же это плохой? Разве же она плохая?

– Кто – она?

– Да жизнь-то! Беда, какая хорошая! Как же можно, чтобы смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то – лежи!

Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разом замер, точно его оглушили, и, постояв с минутку, сказал шепотом:

– Тише теперь... Она тут где-то, недалеко хоронится... Только хитрая! Ну, да все равно я ее поймаю.

Только к вечеру я вернулся от Тимки. Станный мальчуган, он всего на полтора года моложе меня, а такой маленький, что ему не только двенадцати, а и десяти лет нельзя было дать. Всегда он суетился, товарищи над ним подсмеивались, частенько щелкали его по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом, но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просят в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты; потом

обвел глазами весь класс, как бы спрашивая: «Да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват». Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь.

На перемене мы узнали, что вызывали его не для заковывания в кандалы и отправления на каторгу, не для порки и даже не для записи в кондуит, а просто чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики.

Через два дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провел лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей. Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею. Были у нас и такие, которые на лето ездили в Крым и на Кавказ – на курорты. Но их было немного. Эти держались особняком, про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаниях и лошадях.

Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи.

Мать сшила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась «чертовой кожей».

Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с черта, потому что когда однажды, убегая из монашеского сада от здорового инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались и я повис на заборе, благодаря чему иннок успел вклепить мне пару здоровых оплеух.

Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера, дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю.

После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда Федькин отец проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом:

– Дядя Сергей! Нам нету от папы?

И тот отвечал неизменно:

– Нету, деточка, нету сегодня!.. Завтра, должно быть, будет.

Но и «завтра» тоже ничего не было.

Глава седьмая

Однажды, уже в сентябре, Федька засиделся у меня до позднего вечера. Мы вместе заучивали уроки.

Едва мы кончили и он сложил книги и тетради, собираясь бежать домой, как внезапно хлынул проливной дождь.

Я побежал закрывать окно, выходившее в сад.

Налетающие порывы ветра со свистом поднимали с земли целые груды засохших листьев, несколько крупных капель брызнуло мне в лицо. Я с трудом притянул одну половину окна, высунулся за второй, как внезапно порядочный величины кусок глины упал на подоконник.

«Ну и ветер! – подумал я. – Этак и все деревья переломать может».

Возвращаясь в соседнюю комнату, я сказал Федьке:

– Буря настоящая. Куда ты, дурак, собрался... Такой дождь хлещет! Смотри-ка, какой кусок земли в окно ветром зашвырнуло.

Федька посмотрел недоверчиво:

– Что ты врешь-то? Разве этаким ком зашвырнет?

– Ну вот еще! – обиделся я. – Я же тебе говорю: только я стал закрывать, как плюхнулось на подоконник.

Я посмотрел на ком глины. Не бросил ли кто, на самом деле, нарочно? Но тотчас же я одумался и сказал:

– Глупости какие! Некому бросать. Кого в такую погоду в сад занесет? Конечно, ветер.

Мать сидела в соседней комнате и шила. Сестренка спала. Федька пробыл у меня еще полчаса. Небо прояснилось. Через мокрое окно заглянула в комнату луна, ветер начал стихать.

– Ну, я побегу, – сказал Федька.

– Ступай. Я не пойду за тобой дверь запирать. Ты захлопни ее покрепче, замок сам защелкнется.

Федька нахлобучил фуражку, сунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. Я слышал, как гулко стукнула закрытая им дверь.

Я стал снимать ботинки, собираясь ложиться спать. Взглянув на пол, я увидел оброшенную и позабытую Федькой тетрадку. Это была та самая тетрадь, в которой мы решали задачи.

«Вот дурной-то, – подумал я. – Завтра у нас алгебра – первый урок... То-то хватит. Надо будет взять ее с собой».

Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный звонок.

– Кого еще это несет? – спросила удивленная мать. – Уж не телеграмма ли от отца?.. Да нет, почтальон сильно за ручку дергает. Ну-ка, пойді отопрі.

– Я, мам, разделся уже. Это, мам, наверное, не почтальон, а Федька, он у меня нужную тетрадку забыл, да, должно быть, по дороге спохватился.

– Вот еще идол! – рассердилась мать. – Что он, не мог утром забежать? Где тетрадь-то?

Она взяла тетрадь, надела на босую ногу туфли и ушла.

Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам. Щелкнул замок. И тотчас же снизу до меня донесся заглушённый, сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный, негромкий шепот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, подымающихся наверх.

Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати раздетый и с подсвечником в руке.

В дверях, с глазами, полными слез, стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею – заросший щетиной, перепачканный в глине, промокший до нитки, самый дорогой для меня солдат – мой отец.

Один прыжок – и я уже был стиснут его крепкими, загрубелыми лапами.

За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом сестренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал меня и сказал вполголоса:

– Не надо, Борис... не буди ее... и не шумите очень.

При этом он обернулся к матери:

– Варюша, если девочка проснется, то не говори ей, что я приехал. Пусть спит. Куда бы ее на эти три дня отправить?

Мать ответила:

– Мы отправим ее рано утром в Ивановское... Она давно просилась к бабушке. Небо прояснилось, кажется. Борис раненько утром отведет ее. Да ты, Алеша, не говори шепотом, она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходят из больницы, так что она привыкла.

Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному.

«Как?... Маленькую лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца? Что же это такое?... Для чего же?»

– Боря! – сказала мне мать. – Ты ляжешь в моей комнате, а утречком, часов в шесть, соберешь Танюшку и отведешь к бабушке... Да не говори там никому, что папа приехал.

Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал.

Я лег на мамину кровать, а отец и мать остались в столовой и закрыли за собой дверь. Долго я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, пробовал считать до пятидесяти, до ста – сон не приходил.

В голове у меня образовался какой-то хаос. Стоило мне только начать думать обо всем случившемся, как тотчас же противоречивые мысли сталкивались и несуразные предположения, одно другого нелепей, лезли в голову. Начинало слегка давить виски так же, как давит голову, когда долго кружишься на карусели.

Только поздно ночью я задремал. Проснулся я от легкого скрипа. В комнату вошел с зажженной свечой отец. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Отец был без сапог. Тихонько, на носках, он подошел к Танюшкиной кровати и опустил свечу.

Так простоял он минуты три, рассматривая белокурые локоны и розовое лицо спящей девчурки. Потом наклонился к ней. В нем боролись два чувства: желание приласкать дочку и опасение разбудить ее. Второе одержало верх. Быстро выпрямился, повернулся и вышел.

Дверь еще раз скрипнула – свет в комнате погас...

Часы пробили семь. Я открыл глаза. Сквозь желтые листья березы за окном блестело яркое солнце. Я быстро оделся и заглянул в соседнюю комнату. Там спали. Притворив дверь, я стал будить сестренку.

– А где мама? – спросила она, протирая глаза и уставившись на пустую кровать.

– Маму вызвали в больницу. Мама, когда уходила, сказала мне, чтобы я свел тебя в гости к бабушке.

Сестренка засмеялась и лукаво погрозила мне пальцем:

– Ой, врешь, Борька! Бабушка еще только вчера просила меня к себе, мама не пускала.

– Вчера не пустила, а сегодня передумала. Одевайся скорей... Смотри, какая погода хорошая. Бабушка возьмет тебя сегодня в лес рябину собирать.

Поверив, что я не шучу, сестренка быстро вскочила и, пока я помогал ей одеваться, защебетала:

– Так, значит, мама передумала? Ой, как я люблю, когда мама передумывает! Давай, Борька, возьмем с собой кошку Лизку... Ну, не хочешь кошку, тогда Жучка возьмем. Он веселей... Он меня как вчера лизнул в лицо! Только мама заругалась. Она не любит, чтобы лицо лизали. Жучок один раз лизнул ее, когда она в саду лежала, а она его хворостиной.

Сестренка соскочила с кровати и подбежала к двери.

– Борька, открой мне дверь. У меня там платок в углу лежит и еще коляска.

Я оттащил ее и посадил на кровать.

– Туда нельзя, Танюшка, там чужой дядя спит. Вечером приехал. Я сам тебе принесу платок.

– Какой дядя? – спросила она. – Как в прошлый раз?

– Да, как в прошлый.

– И с деревянной ногой?

– Нет, с железной.

– Ой, Борька! Я еще никогда не видала с железной. Дай я в щелочку посмотрю тихо-онечно... я на цыпочках.

– Я вот тебе посмотрю! Сиди смирно!

Осторожно пробравшись в комнату, я достал платок и вернулся обратно.

– А коляску?

– Ну, выдумала еще, зачем с коляской тащиться? Там тебя дядя Егор на настоящей телеге покатает.

Тропка в Ивановское проходила по берегу Тешы. Сестренка бежала впереди, поминутно останавливаясь, то затем, чтобы поднять хворостину, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде, то еще зачем-нибудь. Я шел потихоньку позади. Утренняя свежесть, желто-зеленая ширь осенних полей, монотонное позвякивание медных колокольчиков пасущегося стада – все это успокаивающе действовало на меня.

И теперь уже та назойливая мысль, которая так мучила меня ночью, прочно утвердилась в моей голове, и я уже не силился отделаться от нее.

Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно, это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой перепутанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видела его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде. Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого...

Сомнений больше не было – мой отец дезертир.

На обратном пути я неожиданно в упор столкнулся с училищным инспектором.

– Гориков, – сказал он строго, – это еще что такое?.. Почему вы во время уроков не в школе?

– Я болен, – ответил я машинально, не соображая всей нелепости своего ответа.

– Болен? – переспросил инспектор. – Что вы городите чушь! Больные лежат дома, а не шатаются по улицам.

– Я болен, – упрямо повторил я, – и у меня температура...

– У каждого человека температура, – ответил он сердито. – Не выдумывайте ерунды и марш со мной в школу...

«Вот тебе и на! – думал я, шагая вслед за ним. – И зачем я соврал ему, что болен? Разве я не мог, не называя настоящей причины своего отсутствия в школе, придумать какое-нибудь другое, более правдоподобное объяснение?» Старичок, училищный доктор, приложил ладонь к моему лбу и, даже не измерив температуры, поставил вслух диагноз:

– Болен острым приступом лени. Вместо лекарства советую четверку за поведение и после уроков на два часа без обеда.

Инспектор с видом ученого аптекаря одобрил этот рецепт и, позвав сторожа Семена, приказал ему отвести меня в класс.

Несчастья одно за другим приходили ко мне в этот день.

Едва только я вошел, как немка Эльза Францисковна окончила спрашивать Торопыгина и, недовольная моим появлением среди урока, сказала:

– Гориков! Коммэн зи хэр! Спрягайте мне глагол «иметь». Их хабэ, – начала она.

– Ду хает, – подсказал мне Чижиков.

– Эр хат, – вспомнил я сам. – Вир... – Тут я опять запнулся. Ну, положительно мне сегодня было не до немецких глаголов.

– Хастус, – нарочно подсказал мне кто-то с задней парты.

– Хастус, – машинально повторил я.

– Что вы говорите? Где ваша голова? Надо думать, а не слушать, что глупый мальшик подсказывает. Дайте вашу тетрадь.

– Я позабыл тетрадь, Эльза Францисковна, приготовил уроки, только позабыл все книги и тетради. Я принесу их вам на перемене.

– Как можно забывать все книги и тетради! – возмутилась немка. – Вы не забыли, а вы обманываете. Останьтесь за это на час после уроков.

– Эльза Францисковна, – сказал я возмущенно, – меня и так уже сегодня инспектор на два часа оставил. Куда же еще на час? Что мне, до ночи сидеть, что ли?

В ответ учительница разразилась длиннейшей немецкой фразой, из которой я едва понял, что лень и ложь должны быть наказуемы, и хорошо понял, что третьего часа отсидки мне не избежать.

На перемене ко мне подошел Федька:

– Ты что же это без книг и почему тебя Семен в класс привел?

Я соврал ему что-то. Следующий, последний урок – географии – я провел в каком-то полусне. Что говорил учитель, что ему отвечали – все это прошло мимо моего сознания, и я очнулся, только когда задребезжал звонок.

Дежурный прочел молитву. Ребята, хлопая крышками парт, один за другим вылетали за двери. Класс опустел. Я остался один. «Боже мой, – подумал я с тоской, – еще три часа... целых три часа, когда дома отец, когда все так странно...» Я спустился вниз. Там возле учительской стояла длинная, узкая, вся изрезанная перочинными ножами скамья. На ней уже сидели трое. Один первоклассник, оставленный на час за то, что запустил в товарища катышком из жеваной бумаги, другой – за драку, третий – за то, что с лестницы третьего этажа старался попасть плевком в макушку проходившего внизу ученика.

Я сел на лавку и задумался. Мимо, громяхая ключами, прошел сторож Семен.

Вышел дежурный надзиратель, время от времени присматривавший за наказанными, и, лениво зевнув, скрылся.

Я тихонько поднялся и через дверь учительской заглянул на часы. Что такое? Прошло всего-навсего только полчаса, а я-то был уверен, что сижу уже не меньше часа.

Внезапно преступная мысль пришла мне в голову: «Что же это, на самом деле? Я не вор и не сижу под стражей. Дома у меня отец, которого я не видел два года и теперь должен увидеть при такой странной и загадочной обстановке, а я, как арестант, должен сидеть здесь только потому, что это взбрело на ум инспектору и немке?» Я встал, но тотчас же заколебался. Самовольно уйти, будучи оставленным, – это было у нас одним из тягчайших школьных преступлений.

«Нет, подожду уж», – решил я и направился к скамье.

Но тут приступ непонятной злобы овладел мной. «Все равно, – подумал я, – вон отец с фронта убежал... – тут я криво усмехнулся, – а я отсюда боюсь».

Я побежал к вешалке, кое-как накиннул шинель и, тяжело хлопнув дверью, выскочил на улицу.

На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец.

– Ну, если все с фронта убегут, тогда что же, тогда немцы завоюют нас? – все еще не понимая и не оправдывая его поступка, говорил я.

– Милый, немцам самим нужен мир, – отвечал отец, – они согласились бы на мир, если бы им предложили. Нужно заставить правительство подписать мир, а если оно не захочет, то тогда...

– Тогда что же?

– Тогда мы постараемся заставить.

– Папа, – спросил я после некоторого молчания, – а ведь прежде, чем убежать с фронта, ты ведь был смелым, ты ведь не из страха убежал?

– Я и сейчас не трус, – улыбнулся он. – Здесь я еще в большей опасности, чем на фронте.

Он сказал это спокойно, но я невольно повернул голову к окну и вздрогнул.

С противоположной стороны прямо к нашему дому шел полицейский. Шел он медленно, вперевалку. Дошел до середины улицы и свернул вправо, направившись к базарной площади, вдоль мостовой.

– Он... не... к нам, – сказал я отрывисто, чуть не по слогам, и учащенно задышал.

На другой день вечером отец говорил мне:

– Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче! Ты у меня вон уже какой взрослый. Если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего, следи внимательней за всем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил.

– Мы увидимся еще, папа?

– Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас.

– А где же?

– Узнаешь, когда будет надо, вам передадут.

Было уже совсем темно, но у ворот на лавочке сидел сапожник с гармонией, а возле него гомонила целая куча девок и ребят.

– Мне бы пора уже, – сказал отец, заметно волнуясь, – как бы не опоздать.

– Они, папа, до поздней ночи, должно быть, не уйдут, потому что сегодня суббота.

Отец нахмурился.

– Вот еще беда-то. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка подумай... Ты ведь должен все дыры знать.

– Нет, – ответил я, – через чужой сад нельзя. Слева, у Аглаковых, забор высоченный и с гвоздями, а справа можно бы, но там собака, как волк, злющая... Вот что. Если ты хочешь, то спустимся со мной к пруду, там у меня плот есть, я тебя перевезу задами прямо к оврагу. Сейчас темно, никто не разберет, и место там глухое.

Под грузной фигурой отца плот осел, и вода залила нам подошвы. Отец стоял не шевелясь. Плот бесшумно скользил по черной воде. Шест то и дело застревал в вязком, илистом дне. Я с трудом вытаскивал его из заплесневевшей воды.

Два раза я пробовал пристать к берегу, и все неудачно – дно оврага было низкое и мокрое. Тогда я взял правее и причалил к крайнему саду.

Сад этот был глух, никем не охранялся, и заборы его были поломаны.

Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться в овраг. Здесь мы распрощались. Я постоял еще несколько минут. Хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише.

Глава восьмая

Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку в том, что «сведений о его настоящем местонахождении она не имеет, а если будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям».

Через сына полицмейстера в училище на другой же день стало известно, что мой отец – дезертир.

На уроке закона божьего отец Геннадий произнес небольшую поучительную проповедь о верности царю и отечеству и ненарушимости присяги. Кстати же он рассказал исторический случай, как во время японской войны один солдат, решившись спасти свою жизнь, убежал с поля битвы, однако вместо спасения обрел смерть от зубов хищного тигра.

Случай этот, по мнению отца Геннадия, несомненно доказывал вмешательство провидения, которое достойно наказало беглеца, ибо тигр тот, вопреки обыкновению, не сожрал ни одного куска, а только разодрал солдата и удалился прочь.

На некоторых ребят проповедь эта произвела сильное впечатление. Во время перемены Христья Торопыгин высказал робкое предположение, что тигр тот, должно быть, вовсе был не тигр, а архангел Михаил, принявший образ тигра.

Однако Симка Горбушин усомнился в том, чтобы это был Михаил, потому что у Михаила ухватки вовсе другие: он не действует зубами, а рубит мечом или колет копьем.

Большинство согласилось с этим, потому что на одной из священных картин, развешенных по стенам класса, была изображена битва ангелов с силами ада. На картине архангел Михаил был с копьем, на котором корчились уже четыре черта, а три других, задрав хвосты, во весь дух неслись к своим подземным убежищам, не хуже, чем германцы от пики Козьмы Крючкова.

Через два дня мне сообщили, что за самовольный побег из школы учительский совет решил поставить мне тройку за поведение.

Тройка обычно означала, что при первом же замечании ученик исключается из училища.

Через три дня мне вручили повестку, в которой говорилось о том, что мать моя должна немедленно полностью внести за меня плату за первое полугодие, от которой я был раньше освобожден наполовину как сын солдата.

Наступили тяжелые дни. Позорная кличка «дезертиров сын» крепко укрепилась за мной. Многие ученики перестали со мною дружить. Другие хотя и разговаривали и не чуждались, но как-то странно обращались со мной, как будто мне отрезало ногу или у меня дома покойник. Постепенно я отдалился от всех, перестал ввязываться в игры, участвовать в набегах на соседние классы и бывать в гостях у товарищей.

Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у Тимки Штукина среди его птиц.

Я очень сдружился с Тимкой за это время. Его отец был ласков со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда начнет сбоку пристально смотреть на меня, потом подойдет, погладит по голове и уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова.

Наступило странное и оживленное время. В городе удвоилось население. Очереди у лавок растягивались на кварталы. Повсюду, на каждом углу, собирались кучки. Одна за другой тянулись процессии с чудотворными иконами. Внезапно возникали всевозможные нелепые слухи. То будто бы на озерах вверх по реке Сереже староверы уходят в лес. То будто бы внизу, у бугров, цыгане сбывают фальшивые деньги и оттого все так дорого, что расплодилось уйма фальшивых денег. А один раз пронеслось тревожное известие, что в ночь с пятницы на субботу будут «бить жидов», потому что война затягивается из-за их шпионажа и измен.

Невесть откуда появилось в городе много бродяг. Только и слышно стало, что там замок сбили, там квартиру очистили. Приехала на постой полусотня казаков. Когда казаки, хмурые, чубастые, с дикой, взвизгивающей и гикающей песней, плотными рядами ехали по улице, мать отшатнулась от окна и сказала:

– Давненько я их... с пятого года уже не видала. Опять орлами сидят, как в те времена.

От отца мы не имели никаких известий. Догадывался я, что он, должно быть, в Сормове, под Нижним Новгородом, но эта догадка была основана у меня только на том, что перед уходом отец долго и подробно расспрашивал у матери о ее брате Николае, работавшем на вагоностроительном заводе.

Однажды, уже зимою, в школе ко мне подошел Тимка Штукин и тихонько поманил меня пальцем. Меня скорее удивила, чем заинтересовала его таинственность, и я равнодушно пошел за ним в угол.

Оглянувшись, Тимка сказал мне шепотом:

– Сегодня под вечер приходи к нам. Мой батька обязательно велел прийти.

– Зачем я ему нужен? Что ты еще выдумал?

– А вот и не выдумал. Приходи обязательно, тогда узнаешь.

Лицо у Тимки было при этом серьезное, казалось даже немного испуганным, и я поверил, что Тимка не шутит.

Вечером я отправился на кладбище. Кружила метель, тусклые фонари, залепленные снегом, почти вовсе не освещали улицы. Для того чтобы попасть к перелеску и на кладбище, надо было перейти небольшое поле. Острые снежинки покалывали лицо. Я глубже засунул голову в воротник и зашагал по заметенной тропке к зеленому огоньку лампадки, зажженной у ворот кладбища. Зацепившись ногой за могильную плиту, я упал и весь вывалился в снег. Дверь сторожки была заперта. Я постучал – открыли не сразу, мне пришлось постучаться вторично. За дверями послышались шаги.

– Кто там? – спросил меня строгий знакомый бас сторожа.

– Откройте, дядя Федор, это я.

– Ты, что ли, Борька?

– Да я же... Открывайте скорей.

Я вошел в тепло натопленную сторожку. На столе стоял самовар, блюдце с медом и лежала коврига хлеба. Тимка как ни в чем не бывало чинил клетку.

– Вьюга? – спросил он, увидав мое красное, мокрое лицо.

– Да еще какая! – ответил я. – Ногу я себе расшиб. Ничего не видно.

Тимка рассмеялся. Мне было непонятно, чему он смеется, и я удивленно посмотрел на него. Тимка рассмеялся еще звонче, и по его взгляду я понял, что он смеется не надо мною, а над чем-то, что находится позади меня. Обернувшись, я увидел сторожа, дядю Федора и своего отца.

– Он уже у нас два дня, – сказал Тимка, когда мы сели за чай.

– Два дня... И ты ничего не сказал мне раньше! Какой же ты после этого товарищ, Тимка?

Тимка виновато посмотрел сначала на своего, потом на моего отца, как бы ища у них поддержки.

– Камень! – сказал сторож, тяжелой рукой хлопая сына по плечу. – Ты не смотри, что он такой неприглядный, на него положиться можно.

Отец был в штатском. Он был весел, оживлен. Расспрашивал меня о моих училищных делах, поминутно смеялся и говорил мне:

– Ничего... Ничего... плюнь на все. Время-то, брат, какое подходит, чувствуешь?

Я сказал ему, что чувствую, как при первом же замечании меня вышибут из школы.

– Ну и вышибут, – хладнокровно заявил он, – велика важность! Было бы желание да голова, тогда и без школы дураком не останешься.

– Папа, – спросил я его, – отчего ты такой веселый и гогочешь? Тут про тебя и батюшка проповедь читал, и все-то тебя как за покойника считают, а ты – вон какой!

С тех пор как я стал невольным сообщником отца, я и разговаривал с ним по-другому: как со старшим, но равным. Я видел, что отцу это нравится.

– Оттого веселый, что времена такие веселые подходят. Хватит, поплакали!.. Ну ладно. Кати теперь домой! Скоро опять увидимся.

Было поздно. Я попрощался, надел шинель и выскочил на крыльцо. Не успел еще сторож спуститься и закрыть за мной засов, как я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Тотчас же в сенях раздался топот, свистки, крики. Я вскочил и увидел перед собой городского Евграфа Тимофеевича, сын которого, Пашка, учился со мной еще в приходском.

– Постой, – сказал он, узнав меня и удерживая за руку. – Куда ты? Там и без тебя обойдутся. Возьми-ка у меня конец башлыка да оботри лицо. Ты уж, упаси Бог, не ушибся ли головой?

– Нет, Евграф Тимофеевич, не ушибся, – прошептал я. – А как же папа?

– Что же папа? Против закона никто не велел ему идти. Разве же против закона можно?

Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади них с шинелью, накинутой на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он не плакал, а только как-то странно вздрагивал.

– Тимка, – строго сказал сторож, – переночуешь у крестного, да скажи ему, чтобы он за домом посмотрел, как бы после обыска чего не пропало.

Отец шел молча и низко наклонив голову. Руки его были завязаны назад. Заметив меня, он выпрямился и крикнул мне подбадривающе:

– Ничего, сынка! Прощай пока! Мать поцелуй и Танюшку. Да не горюй очень: время, брат, идет... веселое!

II. Веселое время

Глава первая

Двадцать второго февраля 1917 года военный суд шестого армейского корпуса приговорил рядового 12-го Сибирского стрелкового полка Алексея Горикова за побег с театра военных действий и за вредную, антиправительственную пропаганду – к расстрелу.

Двадцать пятого февраля приговор был приведен в исполнение. Второго марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что восставшими войсками и рабочими занят царский Зимний дворец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.